

Борис Минаев

# детство ЛЁВЫ



# **Борис Дорианович Минаев**

## **Детство Лёвы**

### **Серия «Самое время!»»**

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=20344054](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=20344054)*

*Детство Лёвы: Время; Москва; 2011*

*ISBN 9785969114081*

### **Аннотация**

За сборник «Детство Лёвы» Борис Минаев получил детскую литературную премию «Заветная мечта» – и не случайно. Потому что «Детство Лёвы» – это не только детство самого автора и его брата, «Детство Лёвы» – это детство миллионов уже выросших мальчиков и девочек. Взрослые с удовольствием прочтут эту книгу и вспомнят себя в Лёвином возрасте, а те, кто помладше, – узнают, как жили их родители или даже бабушки и дедушки. А ещё узнают себя самих – потому что история движется, приметы времени меняются, а детство остаётся таким же, как было: ярким, полным открытий и переживаний, таящим в самых обыденных вещах настоящие чудеса. Книга выходит в авторской редакции с двумя новыми рассказами.

# Содержание

Об этой книге	4
Далекое – близкое	7
Политическая карта мира	13
Зубная боль	19
Плюшевая война	25
Живая рыба	30
Эра телевидения	36
Упрямство	42
Конец ознакомительного фрагмента.	46

# Борис Минаев

## Детство Лёвы

### Об этой книге

Проза Бориса Минаева – нормальная детская классика. К этому надо привыкнуть уже сейчас, даже если кто-то не верит, что классику будущего пишут сегодня. Уверяю вас, дети двадцать первого века – счастливые последствия демографического подъема, к которому нас призывают, – будут читать «Детство Лёвы» и «Гения дзюдо» наравне с «Денискиными рассказами», трилогией «Дорога уходит вдаль» и похождениями Вити Малеева. Тайна Минаева – и вообще любой хорошей детской книги, не сказочной, а самой что ни на есть реалистической, – в умении воспринимать ребенка как своего рода сверхчеловека. Это не какой-нибудь там недо-взрослый, а сверхвзрослый, потому что нормальный двадцати-тридцатилетний человек не вынес бы событий такого масштаба. Его бы это убило. У Кушнера есть стихи о том, что ни один взрослый смельчак не вынесет такого страха, который ребенок выдерживает во время контрольной. Детство – огромное увеличительное стекло. У детства глаза велики. Все события до тринадцати-четырнадцати лет воспринима-

ешь с десятикратным, а то и стократным увеличением. Друг не позвал на день рождения – катастрофа, у отца болит голова – конец мира, девочка хихикает – предательство. Никакие страсти потом не доводят человека до такого исступления и не оставляют таких глубоких шрамов. Вот про это и пишет Минаев. Его герои – титаны, мученики, борцы, первооткрыватели, спасители человечества, низкие лгуны, великодушные покровители, благородные разбойники. И мир в его книгах так же огромен, каким он бывает в детстве, и только в детстве. Мы ведь любим эту пору и тоскуем по ней не потому, что у ребенка все уж так хорошо. Напротив, его жизнь полна трагедий, подвигов, отчаяния, несвободы и борьбы. Но ценишь-то ведь не счастье, а масштаб, не комфортность, а первосортность. В детстве все самого высшего сорта, потому что в первый раз. Очень немногое – запах осенних листьев, или цвет заката, или голоса во дворе, – способно вернуть нам то чувство масштаба, то есть самое подлинное ощущение детства. Времени, когда все еще было по-настоящему. Вот Минаев каким-то образом это сделал. Он вырос, то есть научился внятно рассказывать о пережитом и передуманном, – но мир вокруг него не уменьшился. Он так до сих пор и существует среди огромных лопухов и жуков, рядом с полубогами-родителями и героями-сверстниками. Поэтому его книгу будут читать и через двадцать, и через тридцать, и через сто лет. Дети – с благодарностью за понимание. Взрослые – с благодарностью за возвращение.

*Дмитрий Быков*

## Далекое – близкое

В детстве меня называли Мамин Хвостик. Это обидное прозвище возникло, можно сказать, само. Я действительно мог ходить с мамой куда угодно, стоять в любой очереди, скушать в парикмахерской и химчистке, лишь бы быть рядом с ней.

Очень мне нравилась моя мама.

Нравилось главным образом то, что рядом с ней я переставал бояться. Ничего мне было не страшно. А вот как только мама куда-нибудь отходила – пробить чек в кассе, или в парикмахерское кресло, – я начинал ужасно беспокоиться: вдруг она куда-нибудь пропадет?

Но она не пропадала – возвращалась всегда вовремя.

Это чудесное мамино свойство очень сильно меня поражало. Иногда, если мы просто шли по улице, я забегал немножко вперед и смотрел на маму издали: как она идет. Шла она тоже очень красиво, постукивая каблукчиками. И несла легко самую тяжелую сумку. И всегда улыбалась мне издали.

Если мама уставала и ложилась отдохнуть, я тоже забирался рядом с ней. Но долго лежать просто так не мог. Скоро начинал ворочаться, вздыхать. И тогда мама спрашивала меня сонным голосом:

– Ну чего елозишь?

А я отвечал:

– Ничего. Расскажи что-нибудь.

Мама вздыхала, думала.

– Ну что тебе рассказать? – говорила она. – Жил-был волшебник... Построил он однажды дворец. И думает: кого бы в нем поселить?

Я еще больше елозил, только теперь от удовольствия.

– Ну-ка тихо! – говорила мама. – Ну вот, построил он дворец и думает: дай-ка я в нем поселю самого послушного мальчика, который кашу хорошо ест, маме помогает и долго играет один.

...Постепенно становилось темно. Мне очень хотелось, чтобы мама подольше не зажигала свет. Так было лучше – лежать в темноте и слушать сказку.

– Да, – говорила мама. – Искал-искал он такого мальчика, но никак найти не мог. И тогда...

Мама задумывалась.

Я тихонько подталкивал ее в бок.

– Чего толкаешься? – недовольно говорила она. – Я сказку вспоминаю... Знаешь что, давай я тебе лучше стихи прочитаю.

– Давай, – тихо соглашался я. Мама редко рассказывала сказки до конца. Обычно они у нее кончались в самом начале. А я привык к этому и не обижался.

– Значит, так, – говорила мама, – слушай:



Как ныне собирается вещий Олег  
Отмстить неразумным хазарам,  
Их села и нивы за буйный набег  
Обрек он мечам и пожарам...

– Тебе все понятно? – интересовалась мама.

– Понятно, – говорил я. – Дальше рассказывай.

– Ну вот, – говорила она. – А дальше встречает он одного волшебника, и тот ему говорит: ты, князь, умрешь от коня своего.

– Как это – от коня? – не понимал я.

– Ну вот так вот – от коня! – сердилась мама. – Непонятные слова понимаешь, а простые нет! Ладно, давай я тебе спою...

И она начинала петь.

Там вдали за рекой загорались огни...

В небе ясном заря догорала...

Сотня юных бойцов из буденновских войск

На разведку в поля поскакала...

Я слушал песню, затаив дыхание. Лучше всего у мамы получались песни. Она пела их спокойно, не то чтобы уж очень громко, но звучно. Я хорошо представлял себе сотню юных буденновцев, и вещего Олега в командирской тужурке впереди, и злого волшебника, который целился в него из вин-

товки с оптическим прицелом, и много разного, а потом еще вороного конька, который склонял гриву не то над Олегом, не то над самым юным, очень красивым красноармейцем...

— Господи, ночь уже, а отца все нет! — говорила мама, вставала и включала люстру.

Далекий мир исчезал. Я зажмуривал глаза от яркого света. Но и в близком мире мне жилось рядом с мамой совсем неплохо. Я бежал следом за ней на кухню. Тут было очень интересно. Текла из крана шумная вода, мама резала капусту, крошила хлеб и размачивала его в воде, делала сразу котлеты и щи, крутила мясорубку и слушала радио.

— Мам, а что вкуснее, щи или борщ? — спрашивал я.

— Отстань, — говорила она.

А я был счастлив. Я мог вечно сидеть вот здесь, слушать последние известия, смотреть в окошко и глядеть, как мама работает.

— Мама, а спой еще, — просил я.

Мне очень хотелось, чтобы далекий и близкий мир как-нибудь совместились. И мама не ругала меня, она опять начинала петь!

Дунай, Дунай, поди узнай,  
Где чей подарок... —

красиво выводила она.

...Но больше всего я любил спрашивать маму о чем-ни-

будь.

Мама все объясняла подробно и толково, не то что папа. Папа на все вопросы отвечал одинаково.

Спросишь его, например: «Пап, что такое инфляция?» А он отвечает: «Так, ерунда всякая». Или – почему люди вокруг винного магазина всегда стоят? А он: «Так, ерундой занимаются».

А мама нет. Ее объяснения запоминались надолго. В общем-то, навсегда. Она объясняла, куда идет трамвай – к стадиону юных пионеров; почему магазин называется «Овощи – фрукты», а в нем ни картошки, ни лука, и фрукты одни сушеные – потому что не завезли пока, скоро будут; сколько стоит самолет – один миллион рублей; и из чего делается мороженое – из замороженного молока и сахара; и почему надо стричь ногти – некрасиво...

Близкие предметы от ее ответов как будто раздвигались вширь, помещались друг в друге и начинали жить, как добрые соседи, ничуть не противореча.

Больше всего я любил ее спрашивать, как они с папой поженились.

– Прислали нас на практику к нему в цех, – рассказывала мама, – мне одна пожилая женщина и говорит: эх, девушки, и чего вы смотрите, а мимо вас какой мужчина ходит: молодой, серьезный, красивый...

– И что? – спрашивал я, затаив дыхание.

– И все, – смеялась мама. – Познакомились. Стали встре-

чаться.

Мама вдруг покраснела и отсылала меня с кухни.

– Не мешай, – говорила мама, – скоро отец придет, а я еще ничего не приготовила.

Я послушно шел, садился на стул и начинал ждать папу.

Во время ожидания я закрывал глаза и думал: завтра вечером мы пойдем с мамой в магазин. Потом придем, она устанет и ляжет на диван. А я лягу рядом и скажу...

– Мама, – попрошу я, – Расскажи что-нибудь!

– Ну что рассказать, – вздохнет она. – Жил-был зайчик. И была у этого зайчика мама...

Тут приходил папа.

Вот так мы и жили.

# Политическая карта мира

Какой была эта карта?

Огромной, в полстены. Или даже во всю стену. Ведь и стена-то была небольшая. В крохотной комнатке, угловой. С единственным окошком. У всех в нашей квартире окна выходили во двор или на шумную Метростроевскую, а у старика Иосифа окно упиралось в глухую кирпичную стену.

Больше того, у этой комнаты не было даже отдельного входа. Для того чтобы в нее войти, надо было пройти сквозь другую комнату. Сначала постучаться и крикнуть:

– Можно, Давид Моисеевич?

И осторожно открыть дверь, услышав звонкое:

– Да-да!

Поглядев на папу и маму, сосед и дальний родственник старика Иосифа Давид Моисеевич говорил обычно скучным голосом:

– А... вы к нему, – и отворачивался.

Иногда мы заставляли Давида Моисеевича за странным занятием: он сидел на краю большой высокой кровати в белой майке и, согнув руку в локте, слегка поигрывал бицепсом.

«Давид Моисеевич делает зарядку», – говорил потом папа, и они с мамой прямо лопались от смеха.

Впрочем, Давида Моисеевича беспокоили очень редко. К старику Иосифу никто никогда не ходил. Только мои мама

и папа.

– Иосиф Израилевич... – смущенно начинала мама. – До третьего! Рубликов двадцать!..

– Одну секундочку! – весело отвечал он и отворачивался, чтобы мама не видела, сколько у него осталось.

В эти минуты, когда он, сутулясь, стоял к маме спиной в протертом сером пиджаке, медленно отсчитывая трехрублевки, она, наверное, пристально смотрела на политическую карту мира. Больше в этой комнате смотреть было не на что.

Иногда мама и папа убегали в кино, оставив меня на старика Иосифа. Поскольку он был нашим самым добрым соседом по коммунальной квартире. Я почему-то не плакал и не сопротивлялся. Наверное, мне было интересно у старика Иосифа.

Я забирался на диван, за окном становилось темно. Старик Иосиф щелкал выключателем и уходил с чайником на большую кухню. Лампочка бросала резкий ослепительный свет – абажура не было, его заменяла пожелтевшая от времени газета. В углы комнаты падали от газеты черные крошечные тени. Повсюду – по углам, на столе и на диване, – пачками лежали старые газеты.

Кирпичная стена почти целиком загораживала окно, но, если положить голову на подоконник, можно было разглядеть в самом нижнем его углу, как по освещенной улице ходят люди и иногда проезжают троллейбусы.

Потом дед Иосиф входил в комнату с раскаленным чай-

ником, он осторожно нес его за ручку, аккуратно обмотанную тряпицей, ставил на старые газеты, наливал кипятку в большую жестяную кружку и сам размешивал ложечкой два кусочка сахара.

Все это он делал бережно и молча.

Мне надоедали эти приготовления, и я забирался с ногами на диван, поближе к карте.

Оттуда я смотрел на лицо старика Иосифа. Под вечер на нем отчетливо проступала жесткая щетина. Я знал, что она больно колется, и если старик Иосиф хотел меня поцеловать, то вырывался что есть силы.

– Иосиф! – говорил я требовательно. – Расскажи!

Он смеялся и откладывал газету. Его тень падала на Австралию, Японию и Аляску, задевая часть Индии.

– Вот это Китай, – говорил старик Иосиф. – У нас сейчас с Китаем очень напряженные отношения.

Я делал три шага по дивану, чтобы дойти до Китая и посмотреть поближе. Китай был большой и желтый. Я не спрашивал ничего. Просто следил внимательно за крючковатым пальцем, скользившим по карте – бережно и медленно.

– Вот Арабские Эмираты. Английский протекторат. О!.. Но это неинтересно для маленьких мальчиков! – говорил он и наклонялся, чтобы поцеловать меня.

Я вырывался и кричал:

– Нет! Еще!

– Нет, это неинтересно для маленьких мальчиков, – взды-

хал старик Иосиф и отходил от карты, и его тень уходила вместе с ним, а карта вновь становилась под безжизненным светом лампочки немой и непонятной.

Старик Иосиф не знал сказок. Ни одной. Это его очень расстраивало. Всю жизнь он читал только газеты.

Тогда я назначал Иосифа злым волшебником и громоздил из трех диванных подушек крепость, за которой прятался и бормотал заклинания.

Он смущенно смеялся и кашлял.

– Тише, – говорил он жалобно. – Не кричи так! Давид Моисеевич уже лег, у него же режим, неужели же ты не понимаешь?

Я представлял себе, как Давид Моисеевич, в кальсонах и майке, лежит на высокой железной кровати и любовно ощупывает свой бицепс.

Мне становилось противно. И еще было обидно за старика Иосифа, что он живет, задвинутый Давидом Моисеевичем в самый дальний угол нашей громадной квартиры. Я начинал отчаянно прыгать на диване. Диван визжал, подушки сползали на пол, и Иосиф подбирал их, громко шепча:

– Ну что ты! Ну, я тебя умоляю!

...Утром он уходил покупать свежий кефир, а потом до вечера отправлялся в библиотеку читать газеты.

А мой папа с утра делал зарядку. Он раздевался до пояса, и, привязав к ремню двухпудовую черную гирю, выпрямлялся и нагибался. Шея у него становилась ужасно красная, и



он шумно сопел. Я испуганно смотрел на ремень – неужели не оборвется? Но ремень не обрывался, только становился после упражнений каким-то очень мягким и дряблым.

Потом папа обливался холодной водой под умывальником. Он фыркал и снова шумно сопел, а мама подносила ему полотенце. «Папа делает настоящую зарядку, – думал я. – Не то что Давид Моисеевич».

Папа вытирался и спрашивал меня:

– Ну ты как вчера? Опять лекцию слушал?

Они с мамой начинали весело смеяться. Однажды я спросил их, почему они смеются над стариком Иосифом.

– Потому что он чудака, – просто ответила мама. – Но человек хороший.

Потом мы переехали в отдельную двухкомнатную квартиру на Пресне. Больше папа и мама ни у кого не просили денег до получки. Да и не у кого было. Соседи в новом доме к нам заходили редко.

...А когда мне было лет десять, мы с мамой шли по Кузнецкому мосту и забежали в маленький магазинчик, где мама хотела купить географический атлас, роскошную толстую книгу. С отдельными картами всех стран и континентов. Но я настоял на политической карте мира. Она была совсем не такая, как у старика Иосифа – меньше раза в два, и, кроме того, бумага была тонкая и непрочная.

Дома я повесил ее над своей кроватью.

Вечером, когда пора было ложиться спать, я встал на кро-

вати и осмотрел карту. Теперь я был длинный и свободно мог достать до Северного полюса. Меня поразило, что это была совсем другая карта. Страны были совсем другого цвета. Да и названия, которые я помнил очень смутно, были тоже другие.

Немного испугавшись, я позвал папу и спросил его о причине этого несовпадения. Он ответил, что карта Иосифа была очень старая, а в мире с тех пор многое изменилось. Нет больше ни эмиратов, ни протекторатов, сплошные свободные страны.

Папа долго подшучивал надо мной после этого разговора. Он говорил, что когда я вырасту, то буду таким же одиноким чудачком, как старик Иосиф.

Позже я узнал, как умер Иосиф. Дом на Метростроевской, где мы жили, стали выселять. Всем дали отдельные квартиры. Но старик Иосиф привык жить с соседями. И, не выдержав перемен, вскоре скончался.

Когда я узнал, что он умер, я ничего не сказал. Я почти забыл старика. Его щетину. Его сладкий обжигающий чай в жестяной кружке. Его голую лампочку. Запах старости и неуют в его угловой комнатке. Его давно не стиранный костюм и желтые газеты в углах.

И даже глаза старика Иосифа я забыл тоже.

Только карту я запомнил хорошо. Не знаю, почему.

# Зубная боль

Очень рано у меня начали болеть зубы. Они шатались, ныли, но не выпадали, а новые, коренные, никак не хотели вылезать, пробиваться на свет.

И тогда мама повела меня в детскую поликлинику.

Мы вошли в длинный гулкий коридор со светящимися картинками на стенах: «Чесотка – невидимый враг», «Дизентерия», «Режим для дошкольника».

Мне тут сразу очень не понравилось. Дети вокруг тихонько хныкали или сидели смирные как мыши. А из-за закрытых дверей раздавался мощный, полновесный рев. Только один карапуз в матроске, который ничего не боялся, храбро топал по коридору и сам себе командовал: «Нале-во!», «Стой, раз-два!». Но остановиться никак не мог, все маршировал взад-вперед.

Я сидел в потертом кресле у дверей зубного кабинета и просто умирал от страха. За дверью противно визжала машинка, стучало железо, и главное – кто-то глухо и равномерно мычал:

– М-м-м-м!

Потом дверь открылась, и из кабинета вышла здоровенная тетя, с очень довольным видом придерживая густо накрашенную щеку.

– Будь здорова, Клабочка! – приветливо сказала ей ма-

ленькая тщедушная врачиха в белом халате и, обернувшись ко мне, сухо добавила: – Заходи, мальчик!

Мы с мамой медленно поднялись со стульев.

– А вы, мамаша, посидите, – сказала врачиха и привычным жестом подтолкнула меня в плечо.

Я в последний раз оглянулся на маму. Она слабо улыбнулась и сказала:

– Не бойся. Видишь, какая тетя веселая вышла?

Я вошел в кабинет.

– Залезай, – сказала врачиха деловито.

Я сполз на самое дно бездонного кресла, обитого коричневой кожей.

– Ноги клади, – скомандовала врачиха и подошла совсем близко.

Я положил ноги на подставку и закрыл глаза.

– Глаза можешь не закрывать, – усмехнулась врачиха. – Рот лучше открой.

И едва я чуть-чуть приоткрыл рот, как она тут же впилась холодной острой железкой в самое больное место.

– Уй-уй-уй! – мычал я, вцепившись во врачихину руку и дергая головой.

Она вынула железку, раздраженно бросила ее в лоток и крикнула:

– Лена! Какие у нас есть игрушки?

Из другой комнаты, тяжело ступая, вышла большая пожилая женщина, неся в руках задрипанного резинового зайца.

Заяц жрал морковку. Белая краска давно облупилась, и зубы у него теперь стали зеленые.

– Видишь? – фальшиво улыбнулась врачиха и показала пальчиком на зайца, спрятав в другой руке за спиной новую железку. – Сейчас потрогаем тебе зубик, и будешь ходить как зайчик, грызть морковку. Или хочешь с гнилыми зубками ходить, как старичок? А?

Пожилая Лена сунула мне зайца, погладила по голове и пошла назад, шаркая домашними тапочками.

Врачиха быстро наступила мне коленкой на лодыжки и открыла рот сухими пальцами. Я сжался от ужаса.

И вдруг скользкий заяц в моих руках жалобно пискнул.

Врачиха вынула железку от неожиданности, а я, благодарно посмотрев на зеленое чудовище, быстро буркнул:

– Не хочу зайца!

– Лена! – с отвращением крикнула врачиха, в сердцах швырнув в лоток инструмент. – Принеси этого... Буратину!

Появился Буратино, так же медленно, под шарканье домашних тапочек, но и он был ничем не лучше. Пластмассовый нос у него был целый, но опять же подвели зубы – вместо ослепительной доброй улыбки получился какой-то страшный оскал.

– Не надо! – заорал я, вцепившись в безжалостную руку.

Женщина вытерла пот со лба и попыталась успокоиться.

– Ну что мне тебя, связать, что ли? – жалобно спросила она. – Чем больше орешь, тем больше страха. Потерпел бы

чуток, давно бы уж домой пошел. А то смотри – у нас есть такая распорка, мы ее вставим в рот, ты и пикнуть не сможешь. Правда, Лена? – крикнула она в другую комнату.

– Конечно, правда, – глухо пробасила оттуда Лена.

Слова были мягкие, но голос тщедушной врачихи звучал твердо. Ее маленькое скуластое лицо и продолговатые глаза с большими веками заворожили меня. Я опять закрыл глаза, а проклятая железка ковырялась там, в том глубоком неведомом месте, откуда начиналась боль.

– Ну вот видишь, – весело шептала мне врачиха, – почти не больно, почти не больно, почти не бо...

Тут снова стало больно, я опять сжал в руках резинового зайца, он опять отвратительно пискнул.

– Лена! – заорала врачиха. – Убери зайца!

Но было поздно. Я захлопнул рот и решил его больше не открывать. Мне надоело это издевательство.

– Ты что? – испуганно спросила врачиха, увидев какую-то перемену в моем лице. – Не хочешь рот открывать?

Я молча кивнул.

– Так! – разозлилась она и закричала, повернувшись к двери: – Мамаша! Войдите!

Тут же в кабинет влетела мама.

– Что случилось? – испуганно спросила она.

– Я не могу тратить столько времени на вашего мальчика! – звонко произнесла врачиха, приняв величественную позу. – Или он сейчас же откроет рот, или я отправляю вас

на наркоз!

Мама подошла ко мне.

– Послушай, – тихо прошептала она, – чего ты хочешь? Ты хочешь, чтобы я сошла в могилу?

Я медленно, не открывая рта, покачал головой.

– Сгорела со стыда?

Я опять покачал головой.

– А если бы ты был партизаном? – спросила мама. – Что же, ты бы сразу во всем признался, не выдержав пыток?

Но я снова отрицательно покачал головой, начисто отвергая такие нелепые предположения.

– Хорошо, – угрожающе сказала она. – Сейчас мы уйдем отсюда. И пойдем в милицию оформлять документы. Такой сын мне не нужен.

Я заплакал. Страх перед оформлением неведомых документов оказался сильнее страха перед врачихой и бормашинной. Сложившись вместе, оба этих страха вызвали теплую волну слез, она шла из горла, с равномерными истошными всхлипами.

– Ну, вы уж совсем, мамаша, – недовольно сказала врачиха. – Так тоже нельзя. Лена! – закричала она.

И пожилая Лена снова зашаркала ко мне.

– Ты чего расхныкался? – спросила она. – Скажи, чего хочешь, мамка тебе то и купит.

...Я никогда не забуду этот момент. Голоса женщин кружились, перекликались, и я, уже ничего не понимая, не со-

ображая, сказал навстречу мелькнувшему впереди светлому лучу:

– ХОЧУ ЗАЙЦА! ДРУГОГО ЗАЙЦА!

Ладони мои разжались, и несчастный зеленый зверь пока-  
тился на пол.

– Хорошо, – сказала мама. – Я куплю его тебе сегодня.

И незаметно вышла.

...Мне быстро вынули зуб.

На улице дул прохладный осенний ветерок, но было сол-  
нечно.

Мы зашли в большой универмаг и мама, вытряхнув из ко-  
шелька почти все деньги, купила мягкого большого зайца, с  
черными блестящими пуговками глаз и нежно-розовыми ат-  
ласными вкладышами в серых мохнатых ушах.

Я прижал его к лицу и так шел до самого дома.

...С тех пор я много раз бывал у зубных врачей. Наверное,  
у них у всех есть какая-то телепатическая связь, потому что  
каждый врач обязательно смотрит на меня с подозрением и  
говорит, чтобы я вел себя нормально, не вздыхал и не вздра-  
гивал. Теперь мне некому купить зайца.

Но странное дело, когда мне приходится терпеть боль, не  
зубную, а всякую, я всегда жду его. Жду, хотя и знаю, что  
надежда напрасна.

Ты слышишь, заяц?



# Плюшевая война

Зайца называли Степкой. Он вечно косил куда-то в сторону черным пластмассовым глазом, как будто хотел сказать: «А где морковка?»

Совсем другой характер был у трех медведей, которые появились вскоре за ним. Одного принесли гости, другого я выбрал в магазине сам, третий... уже не помню, откуда он взялся.

Медведи были совершенно разные и представляли собой настоящую семью. Суровый облезлый Миша с твердой головой, набитой опилками, был высоколоб и слегка сплюснут, зато в его глазах различалось вполне осмысленное внимательное выражение. Глаза большой черной Машки прятались в густой шерсти, к ней было приятно привалиться головой, а потом задремать, уткнувшись в теплое пыльное пузо. Маленький Мишуня выглядел немножко несчастным и испуганным, я всегда жалел его и сажал на лучшее место.

Мама была не очень довольна таким количеством мягких игрушек.

– Пылища-то какая! – сокрушалась она, встряхивая на балконе медведей и зайца. Звери стукались друг о друга головой, а Миша издавал низкий хрипловатый звук – у-у-у – так он всегда выражался, если его переворачивали.

Потом появился слон Яша. Если смотреть на Яшу сбоку,

было видно, как он улыбается счастливой глуповатой улыбкой. Мама сдалась. Она связала Яше кофту, а облезлому Мише сшила трусы. Но самое главное было еще впереди. В магазине мама присмотрела для меня двух роскошных экзотических зверей: огромную мохнатую обезьяну и высокого нежного жирафа.

Звери были дорогие, и мама предложила взять одного, на выбор.

Выбрать я не мог.

И обезьяна, и жираф просто убивали меня своим величием. Их яркий заграничный мех плохо представлялся мне рядом с пыльной свалявшейся шерстью моих зверюшек.

– Ну, выбрал? – восторженно прошептала мама и подтолкнула меня ближе к прилавку, где целая куча детей тоже не могла отвести глаз от этих красавцев, галдела и показывала на них пальцами.

– Выбрал, – тихо сказал я. – Кошку.

Рыжую кошачью голову с торчащими во все стороны усами из рыболовной лески я еле разглядел между жирафом и обезьяной.

Мама была поражена. Мы вышли на улицу и встали возле дверей магазина, чтобы выяснить отношения.

Маме страшно понравились жираф и обезьяна. Она твердо решила купить одного из них, чтобы поставить игрушку на видном месте. А может, ей самой очень хотелось потрогать ее, помять, поиграть немножко.

Но самое главное: маме очень хотелось, чтобы я обрадовался, забил в ладоши, закричал от удовольствия.

И вдруг я выбрал кошку.

– Зачем тебе эта кошка? – горячо говорила мама. – У нее и лапы не гнутся. А обезьяна может и ходить, и стоять, и сидеть!

Из-за этой кошки мы потом не разговаривали целый день.

Потом появилась и собака, тоже с негнущимися лапами. Потом – еще один, четвертый медведь.

Я упрямо отказывался от машин, солдатиков и пистолетов в пользу своего «зоопарка».

Это расстраивало маму. Ей казалось, что я понемногу превращаюсь в девчонку. Но она ошибалась.

Укрывшись в крепости из подушек, держал оборону медвежий батальон. Истекая плюшевой кровью, кинжальным огнем отражали они атаки врага.

За спинкой кресла в засаде прятались слон и заяц. Они минировали железные дороги, брали пленных. Короче, это была настоящая плюшевая война.

Все стреляли. И шли в атаку.

Помню, как жестокие контрразведчики Кот и Пес пытались старого командира Мишу. Они избивали его жесткими негнущимися лапами, и я с восторгом следил, как с деревянным стуком бьется он своей опилочной головой в полированную ручку дивана, как жалобно и коротко стонет:

– У-у-у-у!

Больше всего мне нравилось разговаривать за всех сразу.

– Шагом марш! Вперед! Слушать мою команду! Стрелять одиночными! Подпустить ближе! Ура! – орал я, сидя на диване и тормоша несчастных зверей.

После каждого сражения я устраивал им разнос. Причем иногда с показательным расстрелом.

– Товарищи! – говорил я строгим голосом. – Так дальше дело не пойдет. Опять все не по плану, не по порядку. Где дисциплина?

Звери молчали, преданно глядя на меня.

Эти минуты были самыми лучшими. Они больше не ползали, не стреляли, не кричали истошными голосами. Я целовал их в холодные пластмассовые носы, прижимался щеками и шептал: «Мои дорогие, хорошие, любимые».

Потом я дремал на диване, убаюканный духотой и усталостью – властолюбивый жестокий тиран. А звери лежали рядом, все так же внимательно открыв глаза.

Но вскоре все кончилось.

Не выдержала потрясений голова облезлого медведя, оторвалась и полетела на пол со стуком, потом засыпала опилками всю комнату, и мама, чихая, убрала безголового подальше. «Потом починим», – успокаивающе сказала она.

Оставленный в наблюдательном пункте на абажуре настольной лампы, подгорел и расползся клочками серой ваты маленький слон Яша.

Вымок под ливнем и потерял свой лихой вид рыжий кот

с негнущимся лапами и усами из лески.

Зверей запихали на антресоли. Когда никого не было дома, я подставлял стул и пытался достать их оттуда. На антресолях пахло старой одеждой, чем-то незнакомым и далеким, как прежняя жизнь. Звери были закинута в самый дальний угол, задвинуты тяжелыми чемоданами, и достать их оттуда я не мог. Я стоял на стуле, приподнявшись на цыпочках, и смотрел в темноту.

Потом я спускался со стула и задумывался.

Зачем я заставлял их проливать кровь? Почему не играл с ними в больницу, путешествие или школу? Почему не пожег их?

Но, несмотря на все это, они любили меня. Просто любили, как умеют любить все звери.

Такое у них было плюшевое мужество: любить, даже если тебе очень плохо.

# Живая рыба

Как-то раз я пошел мыть руки, включил свет и ахнул.

– Мама, кто это? – заорал я диким голосом.

В нашей ванне плавала огромная рыбина. Она беззвучно открывала рот, как будто хотела сказать: «Привет! А вот и я!»

В ванную вошла мама. Она вытерла мокрые ладони о передник и напряженным голосом сказала:

– Это сом.

Я подошел ближе. Сом не плавал. Он устало стоял на одном месте и жалобно выпучивал глаза. Длинные усы бесильно свисали вниз.

– Он у нас будет жить? – спросил я.

Мама как-то странно пожала плечами и снова пошла на кухню.

– Все покупали, и я купила! – крикнула она оттуда. – Знаешь, какая очередь была!

Сом шевельнул плавниками и отвернулся. Ему было стыдно, что он попал сюда, в нашу малюсенькую ванну. Но ничего поделать с этим было нельзя.

– Мама! – закричал я и бросился на кухню. – Пусть он живет! Мы не будем его есть, правда?

– Послушай, – сказала мама. – В хлорной воде он даже до вечера не протянет. Его надо скорей оглушить, чтобы не

мучился.

– Оглушить? – не поверил я. И оглянулся – чем же у нас можно оглушить такого огромного сома?

Мама показала на старый столовый нож с массивной железной рукояткой. Нож, покоробленный и помятый, одиноко лежал на белом кухонном столе.

Я вернулся в ванную и подпустил сому холодной водички. Он благодарно шевельнул усами, а потом выпучил глаза еще больше – видно, вода и вправду была хлорная.

– Мам, а зубы у него есть? – спросил я громко.

Мама опять вошла в ванную и взглянула на сома. Видно, этот вопрос ее тоже интересовал.

– Вообще не должно быть, – сомневающимся голосом сказала она. – Знаешь что, ты лучше иди. Погуляй. Я лучше одна. А то будешь тут меня нервировать. А я и так нервная, без тебя. Думаешь, мне его не жалко?

Я отправился надевать ботинки. Но шнурки что-то никак не хотели зашнуровываться. В ванной послышалось подозрительное бултыхание.

Я бросился туда. Ой! Оказывается, я забыл выключить воду. Сом всплыл почти до самого края и с надеждой глядел на меня.

Он оживился. Мотнув плавниками, он проплыл туда-обратно поперек ванны. Это не стоило ему больших усилий – он просто повернулся вокруг хвоста. В зеленоватой воде сверкнуло светло-серое брюхо.

– Мама! – крикнул я. – А он не выпрыгнет?

\* \* \*

Раскачавшись от движений могучего тела, вода приятно плескалась через край, мне на ботинки. Прямо море какое-то. Или река Волга.

Теперь сом был совсем близко, я даже хотел потрогать его, но в этот момент вошла мама. В руке у нее был нож. Лицо у мамы было очень испуганное.

– Уйди, пожалуйста, – тихо попросила она.

Я прижался к стенке и молча помотал головой.

Мама медленно перехватила нож – она хотела стукнуть сома рукояткой. Поджав губы, она вгляделась в сома, зажмурилась и ударила.

– Ой! – взвизгнула мама, совсем как девочка.

Раздался глухой стук. Я подошел к ванной и с остановившимся сердцем посмотрел вниз. Наш старый нож мирно лежал на дне, а сом все так же часто открывал и закрывал рот.

– Господи! – сердито воскликнула мама и пихнула меня в плечо. – Да уйди же ты наконец. Совсем меня занервировал!

Мама отчаянно сунула руку в воду и тут же выдернула ее обратно – видно, сом коснулся маминой руки своим боком.

– Ну как же я его достану-то, а? – плачущим голосом сказала она.



– Может, папу подождем? – с надеждой спросил я.

– Папа-папа! – рассердилась она. – Твой папа даже паука раздавить боится, не то что сома потрошить! Ну-ка, доставай нож! Доставай, тебе говорят...

Я зажмурился и быстро сунул руку в воду. Нащупал помятую рукоять. В этот момент моей руки коснулось что-то скользкое, живое и страшное. Я выхватил нож из ванной и с недоверием осмотрел руку. Рука была мокрая, с нее капала вода. Но никаких следов зверских укусов и даже царапин не наблюдалось.

Мокрой ладонью мама провела по лицу. В ванной стало душно. Она с отчаянием смотрела на сома. Я заметил, что рука у нее дрожит. «Зачем она только его купила?» – с невыразимой тоской подумал я. Во мне боролись две жалости – к сому и к маме. В конце концов, жить сому все равно осталось недолго. Я решительно схватил нож и слабо ткнул рыбу меж выпученных глаз.

Сом вздрогнул.

– Ну-ка, дай я попробую, – тихо сказала мама.

Она стукнула посильнее – брызги полетели в лицо, я зажмурился. Сом снова крупно вздрогнул и отплыл подальше. Оттуда он посмотрел на нас тяжелым багровым взглядом.

Никогда еще мы с мамой не занимались таким отвратительным делом.

– Мама, пусть он сначала умрет, – попросил я.

– Ты что, не чувствуешь, как воняет! – закричала мама. –

Ты хочешь, чтоб мы все здесь задохнулись? Тебе что, сома не жалко?

Мне как раз было жалко сома. От такой двойной несправедливости я чуть не заплакал.

– Мама, пусть он сам!

С темным, как туча, лицом мама вывела меня за локоть из ванной.

– Сиди здесь, понятно? – крикнула она.

Сидеть одному было еще страшнее. В голове возникали жуткие картины: сом вцепился в мамину руку и тянет ее на дно.

Из ванной я услышал какой-то плеск, новое мамино «ой!», крупное бултыхание – и рванул обратно.

Оказывается, она просто спустила воду.

...Через некоторое время сом лежал на дне, отчаянно вздымал жабры и бил хвостом. Мама взяла в руки какую-то газету и накрыла ею сома. Он по-прежнему сильно колотил хвостом.

Я стукнул головой маму в бок и закричал:

– Отпусти его немедленно, я тебе приказываю!

Согнув спину и тяжело дыша, мама держала сома. Закрыв глаза, она тихо проговорила:

– Левочка, я прошу тебя, не мешай мне, ну что же делать, раз я его купила, в другой раз не буду, я же тебе сказала, пойди погуляй, а ты не захотел, уйди к себе, я очень тебя прошу...

Шумно вздохнув, мама подняла сома на вытянутых руках. Он разбрызгивал крупные пахучие капли.

Как приклеенный, я поплелся за мамой в кухню.

Она плюхнула сома на стол и отчаянно оглянулась. Он трепыхался, подползая ближе к краю.

– Держи хвост! – сдавленно крикнула она. – Я нож возьму!

Я уцепился за сомий хвост и закрыл глаза. Дыхание перехватило, в животе что-то мелко дрожало. Бац! – и движения хвоста стали тише, спокойней. Бац! – и сом в последний раз шлепнул им об стол. Мне показалось, что сом быстро начал высыхать.

Я в последний раз посмотрел в вытаращенные сомовьи глаза и медленно пошел из кухни. Руки мои пахли сомом. Комната пахла сомом. Весь мир пах сомом.

Сквозь слезы я шепнул сам себе:

– Папа любит жареную рыбу.

Через некоторое время я снова зашел на кухню. Сомы уже не было. Мама открыла форточку настежь, и в кухне гулял холодный осенний воздух.

Зашипела сковородка.

Я быстро выскочил во двор.

Над крышами плыли большие низкие облака. Мне показалось, что по небу плывут серые сомы.

Они плывут, плывут туда, где нет хлорной воды, а люди едят только мороженое, клубнику и тульские пряники по двенадцать копеек.

# Эра телевидения

Телевизор назывался «Старт».

Папа и мама купили его, когда мы переехали на новую квартиру. Наверное, он появился не сразу, потому что я помню, как мы ходили к кому-то в гости, смотрели передачу на экране с водяной линзой. Изображение было слегка выпуклым, как в аквариуме, а звук шел из черного матерчатого динамика с пластмассовыми перегородками.

Так что я уже знал, как это здорово – телевизор.

Папа долго возился, включая его в сеть и втыкая антенну. Мы с мамой с восторгом смотрели на темный экран. Наконец экран вспыхнул, и наши лица осветились, как мне теперь кажется, каким-то чуть печальным голубым сиянием.

Увы, показывали только таблицы настройки изображения.

– Вечером посмотрим! – объявила мама и щелкнула выключателем.

Вечером телевизор удавалось посмотреть мало – меня отправляли спать, и я, с тяжелым чувством тоски и обиды, слушал, засыпая, как продолжается передача.

А днем телевизор был в полном моем распоряжении. Я садился и изучал таблицы, старясь разгадать тайну сочетания цифр.

Однажды мама застала меня за этим занятием.

– Ты что делаешь! – возмутилась она и положила ладонь на корпус телевизора. – Ой, как нагрелся!

Вечером она пожаловалась на меня папе.

– Лампы сгорят! – коротко объяснил мне папа.

Мама коротко вздохнула и сказала:

– При чем тут лампы! Это же вредно для глаз!

– И для глаз вредно, – спокойно подтвердил папа, шумно размешивая ложечкой сахар.

Короче, я продолжал смотреть таблицы. Однако начальники телевидения скоро догадались, что кое-кто смотрит эфир днем.

Появились утренние передачи. Правда, они были поскучнее вечерних. Но гораздо веселее таблиц!

...Помню я, конечно, и первые появления на экране Хрюши и Степашки, и первые увиденные мной по телевизору мультфильмы, и футбол, и фильмы про войну, и КВН.

Помню смутно, поскольку был еще все-таки маленьким. И все же помню, что по телевизору тогда показывали очень хорошие фильмы, спектакли, и даже «Кабачок 13 стульев», хоть там и пели чужими голосами, производил хорошее впечатление. Хорошо помню, что тогда по телевизору любили много и радостно улыбаться. Эта привычка осталась у телевидения до сих пор.

Вся штука была в том, что кое-какие передачи шли прямо в эфир. Тогда я еще не знал, что существует запись.

Однажды днем я включил телевизор и увидел двух до-

вольно известных артистов, вот только не помню, каких. То ли это была передача об актерском мастерстве, то ли о культуре общения. Я сидел и занимался каким-то своим делом, по-моему, намазывал черный хлеб горчицей. Очень я любил в то время бутерброды с горчицей.

И вдруг один артист, предположим, Евстигнеев, сказал другому:

– Ну, давайте попробуем, как это может быть в жизни.

– Давайте, – сказал другой, предположим, Папанов.

Они оба встали с кресел и ушли куда-то прочь. Через некоторое время камера неохотно повернулась в их сторону. И я опять увидел этих, предположим, – Евстигнеева и Папанова.

– Ну, значит так, – сказал Евстигнеев, – я вам расскажу какой-нибудь случай из моей жизни, так сказать, анекдот. А вы со мной, ну, что ли, поспорите.

– Давайте, – с воодушевлением согласился Папанов.

– Значит, так, – задумался Евстигнеев, – прошлым летом я на Клязьме вытащил сома.

– Кого? – изумился Папанов.

– Сом, – сказал Евстигнеев, – а чему, собственно, вы так удивляетесь?

Возникла небольшая пауза.

– Да я тыщу раз был на Клязьме! – захохотал Папанов. – Нет там никаких сомов!

– Ну знаете, – сухо оборвал его Евстигнеев, – это не раз-

говор. И вообще, так у нас ничего не получится. Мы с вами в эфире, между прочим.

Папанов нервно обернулся в мою сторону.

– Ну хорошо, – сказал он громким шепотом, – давайте начнем сначала. Только вы это... не увлекайтесь. На Клязьме нет и никогда не было сомов.

Евстигнеев замолчал. Он смотрел в лицо Папанова каким-то неподвижным, тяжелым взглядом.

– Там есть сомы! – отчетливо выговаривая каждый звук, сказал он. – И я сам, вот этими руками, – он выставил вперед свои длинные руки, – одного поймал.

– Может, вы его не поймали, а ловили? – ехидно спросил Папанов.

– Нет, я его поймал! – нервно заорал Евстигнеев и убрал руки.

– Ну тогда извините, – сухо сказал Папанов и ушел из кадра.

– Ну тогда и вы извините, – сказал Евстигнеев и сел на стул.

Теперь они сидели спиной друг к другу и молчали.

– Но послушайте! – вдруг снова возмутился Папанов.

– Не хочу, – отмахнулся от него Евстигнеев, не поворачивая головы.

И тут экран вдруг погас.

Я не поверил своим глазам, щелкнул туда-сюда выключателем и постучал для верности сверху по крышке.

Было по-прежнему темно.

Через некоторое время на экране появился чрезвычайно спокойный диктор и сообщил, что, к сожалению, передача прервана по техническим причинам.

Появились мои любимые таблицы. Но я с раздражением выключил их к черту.

То, что я увидел, потрясло меня до глубины души. На моих глазах произошло чудовищное и вопиющее происшествие – актеры сорвали передачу!

Вечером я рассказал маме то, что видел по телевизору.

– Да это они нарочно! – рассмеялась мама.

– А почему тогда их выключили? – закричал я в необыкновенном волнении. – Ведь их же выключили. Раз, и нет никого, понимаешь?

– А может, тебе приснилось? – ласково спросила мама. – Такого быть не может. У них там, – она кивнула на телевизор, – все знаешь как налажено! Лучше, чем у нас с тобой.

...Не веря себе, я подошел к телевизору и погладил экран. Мне было очень обидно. Но мама была, несомненно, права. Не бывает такого. Уж где-где, а на экране жизнь текла удивительно ровно. Абсолютно спокойно.

Ведь телевизор – это машина.

– Как фамилии-то актеров? – спросила мама с надеждой.

У меня защемило в горле. Ничего я не помнил. Ничего не мог доказать.

Но тогда... тогда почему их выключили?



Ведь если бы их не выключили, я бы все узнал до конца. Я бы понял, шутят они или говорят серьезно. Но их выключили. И я уже не смогу ничего узнать. И даже объяснить ничего не смогу.

Вот так.

И только теперь я понял, что же меня так поразило в той прерванной передаче. Поразило то, что жизнь, оказывается можно остановить. По техническим причинам.

...Я продолжал много смотреть телевизор. Скоро программы стали записывать заранее. Никаких накладок больше не было.

И я так и не узнал: что это была за передача, какие артисты, понарошку или всерьез они поругались, и удалось ли им помириться.

А главное – я не узнал, кто был прав. Водятся или нет в реке Клязьме сомы.

Телевидение лишило меня этой возможности.

# Упрямство

Однажды я здорово обиделся на маму и папу. Было это так.

Мама попросила меня сходить за хлебом.

– Не хочу, – сказал я честно. – Лучше вы кто-нибудь сходите.

– Интересно, – возмутилась мама, – а чай ты пить хочешь?

– Чай хочу, – спокойно ответил я.

В это утро я весь был какой-то тяжелый: тяжелые были руки и ноги, голова сама собой ложилась подбородком на стол и даже ресницы хлопали неохотно.

– Ну вот что, – сказала мама твердо. – Быстренько переобуйся и сбегай, мы тебя ждем.

Я тяжело вздохнул и тяжелыми шагами отправился переобуваться.

Булочная была за углом, можно сказать, во дворе. Но сегодня – вернее, в тот день – этот путь представлялся мне необычайно длинным.

Хлопая крыльями, вылетали из чердачных окошек толстые голуби. Сверкали окна первых этажей, пуская мне в глаза крупных солнечных зайцев. Я вяло похлопал носком ботинка по краю лужи, и серые брызги стали быстро таять на сухом асфальте.

Дворничиха чуть не облила меня из шланга, и я пробежал

вперед, в густую тень старого желтого дома на Большевицской улице. Здесь у подъездов всегда пахло мышами, а на окнах торчали противные цветы в горшках. Нежное утро не радовало меня, и я шел и сочинял про себя историю, грустную и поучительную.

Вот приду я в булочную, возьму батон белого и полбуханки черного, а тут и окажется, что хлеб-то подорожал!

– Еще две копейки, – скучно скажет толстая тетя с густо накрашенным лицом у кассы и нетерпеливо постучит ногтями по пластмассовому блюдечку для денег.

А денег-то у меня нет! Только две пятнашки. Буханки, понятное дело, я оставляю напротив тети, на железном столике рядом с кассой, а тридцать копеек – в пластмассовом блюде с выемкой, прибегу домой и крикну с порога:

– Сами идите доплачивайте за свой хлеб!

И расстроенный папа заспешит в булочную, сжимая в кулаке две копейки, а мама станет утешать меня, нальет горячего чая и насыплет в чашку четыре полные ложки сахара.

Но денег оказалось достаточно. Тетя равнодушно бросила две копейки сдачи и я, сунув хлеб в рыжую рваную авоську, полетел назад домой.

Я был рад, что все кончилось хорошо и я победил упрямство и сосущую слабость в затылке и под коленками.

Но радость была преждевременной.

Мама встретила меня в прихожей, сунула в руку рубль и весело сказала:

– Знаешь, а у нас и сахара нет!

И вот тут что-то случилось.

– Не пойду, – упрямо сказал я и сел на табуретку, даже не успев толком ничего подумать.

Опять видеть тетю у кассы не хотелось.

– Что ты маячишь перед глазами, – скажет она раздраженно. – Сразу все надо покупать, я вам тут не нанималась на счетах щелкать...

Я так ясно услышал тетины слова, что почти сразу повторил их вслух:

– Я вам... не нанимался бегать туда-сюда, – сказал я глухо и отвернулся к стене.

– Что-что? – слабо спросила мама. И крикнула в кухню: – Отец! Иди посмотри, что он вытворяет!

Она знала, что я боюсь, когда папа сердится. Это было с ее стороны маленькое, но предательство.

– Все равно не пойду! – закричал я и бросил авоську с хлебом на пыльную калошницу.

Мама начала медленно наливать пунцовую краской. Она дернула меня за руку, втокнула в ванную и крикнула:

– Давай умойся, остынь, а потом будем разговаривать!

И опять кто-то ошпарил меня внутри кипятком, и я хлопнул дверь, шумно закрыл щеколду и громко сказал:

– Все равно никуда не пойду! Пейте чай без сахара!

Тяжело дыша, мама ушла на кухню. Я осмотрелся, сел на край ванны и включил холодную воду.

Равнодушно блестел белый кафель. Мерно и спокойно текла вода. Я вдруг почувствовал какую-то странную радость.

Ванна показалась просторным и замечательным убежищем. Вот именно – убежищем. Заперев за собой дверь, я впервые и всерьез убежал от родителей. Это был очень серьезный поступок. И я начал его обдумывать.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.